

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Ч у в с т в а.

§ 1. Значение чувств и их психологическая характеристика.

Впечатления, представления и мысли, в кругу коих мы живем, оказывают на нас всегда и определенное эмоциональное воздействие, т. е. вызывают у нас те или иные чувства. Кушанье бывает приятно или неприятно, открывающийся перед нашим взором ландшафт кажется нам красивым или скучным, доносящаяся до нас музыка также будит в нас удовольствие или неудовольствие, всплывающие у нас в сознании мысли и образы в равной мере бывают окрашены или приятным чувством интереса и взаимной согласованности, или, напротив, мучительным чувством сомнения и неопределенности. Субъективно для каждого из нас весь мир распадается на предметы интересные, неинтересные, любимые, ненавистные, страшные, жалкие, красивые, безобразные и т. д., — словом, на предметы прежде всего так или иначе эмоционально окрашенные.

Конечно, степень выраженности подобной эмоциональной окраски может быть очень различной. Кроме того, как мы увидим ниже, наши чувства могут притупляться. Поэтому многое из того, что нас окружает, и кажется нам эмоционально безразличным. Однако все для нас сколько-нибудь значительное всегда явным образом затрагивает наши чувства. Больше того. Именно чувства и являются прямыми двигателями наших поступков, если рассматривать процесс нашего реагирования на окружающие впечатления с его субъективной стороны. Нами двигают любовь, ненависть, страх, жадность, долг и т. д. Если я отскакиваю в сторону от наезжающего на меня автомобиля, то я это делаю в конце-концов потому, что перспектива очутиться под его колесами и быть раздавленным вызывает у меня живейшее чувство страха. Не боясь я смерти и боли, у меня, конечно, не было бы никакого основания отклоняться от своего пути в сторону. Я всячески напрягаю свою мысль над разрешением какой-нибудь умственной задачи, движимый тягостным чувством логической несогласованности имеющихся у меня представлений. Чувство непосредственного сострадания или же чувство долга побуждают нас приходить на помощь другим людям. Чем богаче эмоциональная сфера субъекта, тем многостороннее и богаче и его жизненная актив-

ность. Психопатология дает нам, наконец, и прямое доказательство значения чувств для поведения. Известен случай *Эскироля*, когда в результате ослабления чувствований у субъекта исчезла и способность к волевым действиям. Подобный больной говорил о себе: «Я знаю, что мне следует делать, и желал бы быть в состоянии делать то, что следует; но у меня не хватает для этого сил, дайте мне силы, и я буду здоров». «Я знаю, что я *должен* сделать то или другое и что я *могу* это сделать. Ваши советы очень хороши. Я желал бы последовать им. Я уверен, что это было бы разумно. Но сделайте так, чтобы я мог хотеть, чтобы у меня была воля, которая *заставляла* бы меня действовать, которая *определяла* бы мои поступки. У меня есть воля только к тому, чтобы не иметь воли. Я все прекрасно понимаю и знаю, что мне следует делать, но как только мне приходится действовать, так силы оставляют меня. *Недостаток активности происходит у меня от того, что чувства мои слишком слабы, чтобы возбуждать волю*».

Несмотря на все подобное значение чувств для нашего поведения, вопрос о них в психологии разработан научно еще в весьма недостаточной степени. Чувства, в отличие от ощущений, более независимы от воздействующих на нас раздражителей; они обычно весьма неустойчивы и исчезают при направлении на них самих нашего внимания. Кроме того, чувства с субъективной стороны характеризуются такими чертами, определить которые для всех одинаково приемлемым и понятным образом представляется весьма затруднительным. Отличить переживания эмоциональные, к числу коих относятся удовольствие и неудовольствие во всех их разновидностях, от переживаний познавательных, как-то ощущений, представлений и мыслей, психологи пытаются следующим образом.

Во всех познавательных переживаниях мы имеем такие состояния, в которых с субъективной стороны мы испытываем знание о тех или иных свойствах *предстоящего нам* предмета. Если мы ощущаем прохладность выпиваемой воды или красноту видимого нами цвета, то и в том и в другом случае мы переживаем свойства, признаки некоторых предметов, нам данных, так сказать, стоящих перед нашим умом: вода холодна, цветок красен; то же самое имеет место и при нашем размышлении над свойствами, скажем, какой-либо геометрической фигуры, математического закона и т. п. Но того же мы не можем уже сказать о наших чувствах, возникающих у нас по поводу

тех или иных впечатлений и мыслей. Приятность прохладной воды, то удовольствие, которое мы испытываем, выпивая ее, есть в наших глазах не свойство или признак самой воды, но *состояние нас самих*: «мне приятна прохладная вода».

Зависть, гнев, грусть, испуг и все прочие чувства в равной мере (если характеризовать их с субъективной стороны) не суть нечто присущее мыслимым нами предметами в качестве их признака или свойства. Гневаюсь, грущу или завидую «я» *)—гнев, зависть, грусть суть *состояния меня*, а отнюдь не черты мне данных вещей: «мне завидно»... «мне грустно» и т. д. Имея это обстоятельство в виду, психологи и находят возможным характеризовать чувства, как психологические состояния удовольствия или неудовольствия, отличающиеся особой *субъективностью*.

С внешней, объективно даваемой, стороны эмоциональные состояния характеризуются богатыми мимическими и пантомимическими движениями на ряду с рядом изменений в сосудодвигательных, сердечных и дыхательных реакциях. Как то мы и увидим ниже, эти внешние и заметные физиологические изменения имеют чрезвычайно большое значение и для возникновения и для всего протекания наших чувств. Однако, на основании одних только этих объективных симптомов, мы едва ли бы все же могли говорить об эмоциональных состояниях, как об особой, отличной от других, стороне нашей психической жизни.

§ 2. Причины чувств.

Обычно чувства возникают у нас по поводу тех или иных познаний. Приятно или не приятно мне всегда что-нибудь, гневаюсь я на кого-нибудь, завидую чему-нибудь. Во всех случаях, следовательно, предполагается какое-нибудь познавательное переживание—ощущение, представление и т. п. Бывают, правда, как будто бы и лишённые подобной предпосылки, «беспричинные» чувства: мы бываем «ни с того, ни с сего» веселы или, напротив грустны, также без всякого видимого к тому основания. Есть основания думать однако, что и в этих слу-

*) Под «я» здесь следует разуметь, конечно, не какого-либо метафизического субъекта, но лишь тот, в опыте даваемый каждому, комплекс переживаний, который мы называем собою, говоря постоянно «я раскаиваюсь, я боюсь, мне нравится» и т. д.

чаях в основе лежат ощущения, хотя бы создаваемые нами смутно и мало дифференцированные ощущения от внутренних процессов нашего организма. Беспричинная веселость, например, наступающая у многих после алкоголя, является следствием изменений в их общем органическом самоощущении. Поэтому мы в праве думать, что все чувства вообще возникают у нас лишь как ответ на те или иные ощущения и представления.

Все многообразие чувств в общем может быть сведено к двум большим группам: чувствам приятным (удовольствия) и чувствам неприятным (неудовольствия). Почему же, спрашивается, одни впечатления нам приятны и повышают уровень нашего субъективного благополучия, другие же, напротив, будят чувства неудовольствия?

Для того, чтобы ответить на подобного рода вопрос, следует иметь в виду, что в основе всех наших чувств лежат инстинкты и стремления. В таком случае впечатления, идущие навстречу этим, свойственным нашей природе, потребностям, удовлетворяющие их, и будут впечатлениями приятными, порождающими у нас чувства удовольствия; напротив, впечатления, идущие наперекор нашим влечениям, естественно будут будить у нас неудовольствие. Подобное допущение не вызывает сомнения, поскольку мы имеем в виду более сложные чувства (аффекты); гнев неприятен и возникает в тех случаях, когда какие-либо действия других лиц явно нарушают наши желания; обида неприятна и вызывается впечатлениями, противоречащими нашему естественному влечению к уважительному к нам отношению; надежда приятна, поскольку рисует картины удовлетворения наших желаний. Дети обычно, не смотря ни на что, бывают дороги родителям, будят в них нежную эмоцию любви, удовлетворяя родительский инстинкт последних. Эстетические чувства, чувства красоты или некрасивости, также возникают в явной зависимости от существующих у нас «запросов» и требований в этом отношении.

Применительно к чувствам более простым, вроде, например, чувства удовольствия от теплой ванны, от сладкого вкуса, от отдельных сочетаний звуков или цветов и т. п., приведенное выше допущение становится, однако, как будто бы уже не столь очевидным; мы не создаем никаких стремлений к теплоте, сладкому, к тому или иному сочетанию цветов и звуков. Впечатление сразу приобретает для нас эмоциональную окраску, как

нам кажется, без всякой связи с каким-нибудь явным инстинктом или просто влечением, нам присущим. Поэтому нам остается допустить, что эмоциональные реакции рождаются на почве не только переживаемых и сознаваемых нами инстинктов и влечений, но также и на почве лежащих вне сферы нашего сознания потребностей и удобств чисто-физиологического порядка.

§ 3. Трехмерность чувств.

В. Вундт и его школа обратили внимание на то, что все многообразие наших простых чувств характеризуется не только чертами *удовольствия или неудовольствия*, но и еще четырьмя признаками. Ощущение красного цвета или высокого звука, например, помимо приятности или неприятности, повергает нас еще в состояние известного *возбуждения*; фиолетово-синие цвета и низкие звуки, напротив, действуют *успокаивающе*. Ожидая на экзамене вопроса экзаминатора, мы переживаем интенсивное чувство *напряжения*, переходящего в *разрешение*, как только вопрос нам уже задан. Все наши простые чувства колеблются по Вундту поэтому не только между противоположностью удовольствия и неудовольствия, но и между противоположностями возбуждения и успокоения, напряжения и разрешения. Чувства таким образом изменяемы в трех направлениях, почему вундтовская теория и называется трехмерной теорией чувствования.

Установление таких более дифференцированных характеристик наших простых чувств является безусловной заслугой вундтовской школы. Спорным остается лишь—для нас сейчас маловажный, больше теоретический—вопрос о том, насколько возбуждение и успокоение, напряжение и разрешение суть действительно элементарные чувства, а не органические ощущения, эмоционально окрашенные опять-таки или удовольствием, или неудовольствием. Есть основания думать, что дело обстоит именно так. *Титчнеру* и др. удалось экспериментально показать, что при выборе испытуемыми из двух впечатлений одного, как наиболее приятного или неприятного, возбуждающего или успокаивающего, напрягающего или разрешающего, ответы относительно четырех последних характеристик располагаются совершенно соответственно ответам о приятности или неприятности; особой кривой, особого распределения пред-

почтений, соответствующего возбуждению, успокоению, напряжению и разрешению, не получается. В зависимости от того, как испытуемый понимает в данный момент, скажем, термин успокоение, его ответы совпадают с распределением ответов, говорящих за приятность или за неприятность данных впечатлений: ответы относительно успокоения, понимаемого, как отдых, дают совпадение с кривою удовольствия, ответы относительно успокоения, понимаемого как некоторая подавленность, грусть, совпадают с кривою распределения ответов, говорящих о не-удовольствии. Ниже мы приведем полученные *Титчнером* кривые распределения ответов о неприятности и напряженности, испытываемой при выслушивании ударов метронома, стучащего с различной частотой (см. рис. 13).

Из них можно видеть, что, чем больше напряжение, тем больше и неудовольствие и наоборот. Поэтому подобного рода кривые говорят скорее против особенности и самостоятельности предложенных Вундтом направлений изменения чувств. Отстаивая свою точку зрения. Вундт придавал большое значение объективным, физиологическим симптомам чувств, которые изучались в его лаборатории и, казалось, говорили в пользу теории трехмерности наших простых чувств. Из работ

его учеников, повидимому, обнаруживалось, что чувства совершенно определенным образом влияют на наше дыхание и пульс так, что каждому направлению изменений чувств (т.-е. состояниям удовольствия, неудовольствия, возбуждения, успокоения, напряжения и разрешения) соответствует особое изменение силы и скорости пульса и дыхания. *Вундтом* составлена на этот счет соответствующая таблица.

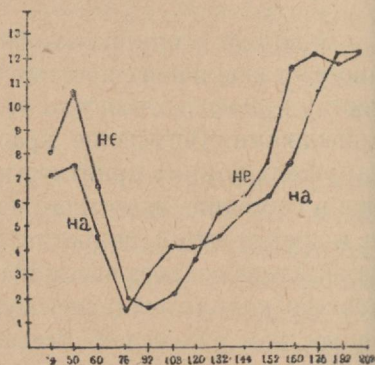


Рис. 13. Кривые напряжения (на) и неудовольствия (не), показывающие, что распределение суждений под этими двумя названиями практически тождественно. В качестве возбудителей служили удары метронома, скорости которых отмечены на горизонтальной линии: 40, 50... в мин. Цифры на вертикальной линии показывают число суждений. Можно видеть здесь, что наименьшее напряжение было также и наименьшим неудовольствием (76, 92), а наибольшее напряжение было наибольшим неудовольствием.

Другие и более поздние работы подвергли, однако, сомнению как вообще самый метод изучения чувств по изменениям в пульсе и дыхании, так в частности и эту схему, предложенную Вундтом. Пульс и дыхание реагируют на целый ряд различных причин, вследствие чего учесть влияние собственно чувств очень трудно.

Таким образом трехмерная теория чувств не является доказанной. Остается поэтому думать, что существуют лишь два противоположных друг другу вида чувств: удовольствие и страдание. Все же остальные оттенки их зависят от привходящих и определенным образом располагающихся внутренних, органических ощущений.

§ 4. Теория аффектов Джэмса—Ланге.

Большой интерес для педагога представляют, конечно, более сложные и значительные эмоциональные переживания, называемые *аффектами* или эмоциями. О них мы говорим в тех случаях, когда наш эмоциональный ответ на те или иные впечатления бывает достаточно сильно выражен как в физиологических изменениях организма, так и в изменении течения наших представлений и мыслей. Таковы переживания сильного гнева, восторга, любви, испуга, интереса и т. п. Сила вспыхнувшего аффекта обычно постепенно ослабевает и аффект переходит в *настроение*: гнев—в неприязненность, острое горе—в печаль, интерес—в заинтересованность и т. д.

Глубокий анализ аффективных состояний сделан в психологии датским медиком *Ланге* и американским психологом *Джэмсом* и носит название *теории эмоции Джэмса—Ланге*. Согласно этой теории природа наших аффективных переживаний есть не что иное, как совокупность сложных органических реакций (сосудистодвигательных и сердечных) и внутренних, органических ощущений (мышечных напряжений). В страхе «у нас замирает сердце», «подкашиваются ноги», «выступает холодный пот», «у нас мороз пробегает по коже», тоска «сосет сердце», гнев «клокочет внутри нас», мы «содрогаемся» от опасения возможного несчастья и т. д. Во всех этих случаях уже и обыденный язык определенным образом указывает на «телесный» характер наших эмоций. Эмоции «высшие», интеллектуальные, моральные и эстетические не составляют в этом отношении какого-либо принципиального исключения. В

состоянии эстетического восторга сердце усиленно бьется; биографы передают, что у французского философа Мальбранша, при первом ознакомлении его с сочинениями Декарта, от восхищения пресеклось дыхание и он должен был на время оторваться от чтения: представления морального характера заставляют «трепетать» наше сердце, у иных при этом «навертываются на глаза слезы».

Все подобного рода органические реакции являются не только сопутствующими и сопровождающими эмоцию состояниями, но они-то и составляют самую сущность ее. «Если мы вообразим,—пишет Джэмс,—какую-нибудь сильную эмоцию и затем постараемся умственно отвлечься от всех чувствований и ощущений, получаемых от телесных проявлений ее, то мы найдем, что от эмоции не осталось ничего, никакого «душевного вещества», из которого она могла бы состоять; мы найдем, что все оставшееся есть лишь холодное и безразличное состояние умственного восприятия». «Я не могу вообразить себе,—читаем мы у него дальше,—какой род эмоции страха остался бы, если бы не было в наличности ни ощущений, связанных с усиленным сердцебиением, ни ощущений укороченного дыхания, ни ощущения дрожания губ и расслабления членов, ни того, что мы чувствуем, когда мурашки пробегают по коже (гусиная кожа) или когда происходит движение в наших внутренних органах и т. п.». «Эмоция, лишенная тела, есть нечто несуществующее».

Детально анализируя двигательные физиологические признаки главнейших эмоций, *Ланге* строит нижеследующую схему, показывающую нам, в каких именно двигательных изменениях сказываются различные эмоции.

Уменьшение произвольной иннервации	{		Разочарование.
		+ сжатие сосудов	Печаль.
		+ то же + спазмы органич. мускулов.	Страх.
		+ расстройство координации	Смущение.
Увеличение произвольной иннервации	{	+ спазмы органических мускулов	Нетерпение.
		+ расширение сосудов	Радость.
		+ то же + расстройство координации.	Гнев.

Если переживание эмоции есть лишь отзвук органических реакций и ощущений, то обычный порядок, связывающий впечатление, эмоцию и «выразительные движения» ее, оказывается на самом деле совершенно иным. Мы не потому плачем,

что опечалены, но потому именно и опечалены, что плачем; мы не потому убегаем от медведя, что испугались, но потому-то и испытываем испуг, что убегаем. Подобного рода утверждения, выставленные *Джэмсом* и *Ланге*, кажутся на первый взгляд совершенно парадоксальными. Авторы, однако, подкрепляют их рядом соображений. Помимо приведенного уже выше аргумента, они указывают на возможность искусственного вызывания эмоций посредством лекарственного воздействия на организм, порождающего соответствующие физиологические реакции. Известно, например, что употребление в пищу грибов «мухоморов» может вызвать припадки сильнейшего гнева; предполагают даже, что в древности люди сознательно ели эти грибы перед сражением для большей воинственности. Некоторые тошнотворные лекарства вызывают состояния, сходные со страхом или печалью. Хорошо известно веселящее действие алкоголя. Во всех этих примерах эмоции очевидным образом развиваются лишь на почве изменений в органическом самоощущении субъекта.

Прием бромистого калия, действующего парализующим образом на наш сосудисто-двигательный аппарат, повергает нас в эмоционально-безразличное состояние — в апатию. Почти абсолютную апатичность наблюдал *Соллье* и у одного больного, страдавшего потерей чувствительности кожи, слизистых оболочек, мускулов и внутренностей.

Умышленно подавляя или усиливая у себя двигательные проявления эмоции, мы обычно тем самым ослабляем или усиливаем и ее самое. «Каждый знает, как увеличивается паника бегством и как увеличиваются печаль и гнев, если мы даем ход их проявлениям. Каждый приступ рыданий делает печаль более острой и вызывает приступы еще более сильные, пока, наконец, наступает успокоение вместе с усталостью и с очевидным истощением механизма слез и рыданий». До известной степени мы можем привести себя в любое настроение, воспроизводя соответствующую внешнюю позу, интонацию голоса, напряжения мышц и т. д. *Джэмс* прав, говоря: «попробуйте просидеть целый день в подавленной позе, вздыхая, отвечая всем подавленным голосом, и вы значительно усилите свое меланхолическое настроение»... Если дело обстоит действительно так, становится понятной педагогическая ценность многих церемоний и внешней обрядности вообще: принимая позу, я заражаюсь и соответствующим ей настроением.

В позднейшем изложении своей теории *Джэме* внес существенно важную поправку. Именно он признал, что всякое впечатление, нам данное, сразу же вызывает у нас элементарное чувство удовольствия или неудовольствия. Вся же совокупность ощущаемых нами органических реакций, которая и составляет, так сказать, всю сущность переживания эмоции, развивается уже вслед за таким эмоционально окрашенным восприятием. Таким образом схемой возникновения эмоции в конце-концов может служить такой ряд: 1) то или иное имеющееся у нас стремление (или инстинкт); 2) воздействующее впечатление, приобретающее для нас сразу же окраску элементарного удовольствия или неудовольствия; 3) ряд органических реакций, развивающихся из соотношения впечатления с имеющимися у нас стремлениями; 4) ощущение таких реакций, дающее полное переживание аффекта или эмоции.

В опытах *Лемана* также оказалось, что испытуемые замечают элементарную эмоциональную окраску впечатления прежде, чем до их сознания доходят вызванные раздражителем органические ощущения.

Следовательно, эмоции представляют собой сложные переживания, включающие в себя как простые чувства удовольствия или неудовольствия, так и целую совокупность органических ощущений, порождаемых теми многочисленными внутренними и внешними реакциями, которые принято называть «выразительными движениями» в широком смысле слова.

Заслуга *Джэмса* и *Ланге* и состоит в том, что они обратили особое внимание на эти выразительные движения и связанные с ними органические ощущения и выяснили их огромное значение для оформления, развития и усиления самого переживания эмоций.

§ 5. Выразительные движения.

Двигательные реакции, наблюдаемые нами при эмоциях, могут представлять интерес и с другой точки зрения, поскольку они являются симптоматичными выразительными движениями для различных видов эмоций. Ничто так не отражается на мимике человека, как переживаемые им чувства. Мы всегда бываем в состоянии по ней в общих чертах сказать, настроен ли человек радостно или печально, гневается ли он или горюет, охвачен ли он интересом или скукой и т. д. Естественна

поэтому, задача установить более определенную связь между тем или иным внешним проявлением эмоций и их субъективной стороной. Это дало бы нам возможность с большей уверенностью судить о характере эмоционального переживания на основании признаков объективных. Попытки в этом направлении делались еще в глубокой древности. На основании главным образом исследований *Дарвина*, *Пидерита* и *Дюшена* мы можем теперь притти уже к некоторым научным, обобщающим принципам. Эти принципы, сформулированные *Дарвином* и *Вундтом*, не исчерпывают, правда, все же всех подлежащих объяснению явлений.

Согласно *первому принципу* выразительные движения воспроизводят часто действия, бывшие некогда целесообразными, или такие действия, которые были бы целесообразны по отношению к объекту эмоции, в личности перед нами находящемуся.

Так, например, в сильном гневе у людей часто оскаливаются зубы (см. рис. 14), что, очевидно, имело смысл во времена, когда наши предки буквально грызлись друг с другом.

К числу мимических симптомов гнева относится и тяжелое дыхание через расширение ноздри, по *Дарвину*, так же пережиток тех времен, когда рот разгневанного человека бывал закрытым телом кусаемого им противника.

Мимика презрения (рис. 15) характеризуется сощуриванием глаз и отведением их в сторону. Мы как бы не хотим и видеть презираемого нами предмета, хотя на самом деле его и без того может перед нами сейчас не быть. В негодовании мы сжимаем кулаки и потрясаем ими перед собою, как бы грозя противнику, часто лишь представляемому или даже вообще неопределенному. Пожимание плечами есть выражение



Рис. 14. Гнев. Негодование. Ненависть. (По Дарвину.)



Рис. 15. Презрение. (По Дарвину.)

пугливого смущения—в нем сказывается стремление укрыться, сделаться незаметнее.

Согласно 2-му *принципу* очень большое число наших мимических движений при эмоциях представляет собою не что иное, как мимику тех или иных простых, эмоционально окрашенных, ощущений, воспроизводимую сейчас вследствие эмоционального сходства. Не даром мы ведь и говорим о «горькой» обиде, о «сладости» свидания и т. п. Очевидно, что между переживанием обиды и переживанием горького вкуса, приятностью свидания и приятностью от сладкого известное сходство действительно существует. Оно-то и опосредствует перенесение мимики простого ощущения на эмоцию. Подобным образом мимика отвращения воспроизводит движения, способствующие вытеканию изо рта попавшей в него неприятной пищи: рот искривляется вследствие опускания одного из его углов вниз и образования щели. Разочарование придает нашему лицу «кислое» выражение, как если бы мы действительно попробовали чего-нибудь кислого. При удивлении мы широко раскрываем глаза и поднимаем брови, что обычно совершается для лучшего рассмотрения какого-нибудь нового увиденного нами предмета.

Жесты утверждения и отрицания—наклонение головы вперед и покачивание ею из стороны в сторону, встречающиеся в сходном виде у очень многих народов, как думает *Дарвин*, имеют своим началом действия, производимые маленькими детьми при принятии пищи и при отказе от нее.

В-третьих, наконец, по Дарвину и Вундту, ряд внутренних и внешних проявлений эмоций является следствием прямого распространения возбуждения на те или иные двигательные центры мозговой коры вследствие врожденных анатомических связей. Сюда относятся движения, которые «с самого начала не зависели от воли и в значительной степени не зависели от привычки», — таковы изменения в общем мышечном напряжении, сосудодвигательные реакции, дрожь, изменения в деятельности кишечника, желез и т. п. симптомы. Справедливо, конечно, указывают, что этот 3-й принцип скорее лишь констатирует наблюдаемые нами факты, чем объясняет их. Сознвая это, сам Дарвин уже был склонен думать, что многие из относящихся в рассматриваемую группу реакций могут быть глубже истолкованы и поняты как закрепленные привычкой пережитки движений, биологически целесообразных

и полезных. Так, например, «сильная боль заставляет всех животных и заставляла их в течение бесчисленных поколений производить самые бурные и разнообразные усилия, чтобы избавиться от причины страдания. Если боль чувствуется в конечности или в другой отдельной части тела, мы часто видим стремление трясти ею, будто для того, чтобы стряхнуть причину боли, хотя бы это было, очевидно, невозможным. Таким образом установилась привычка как можно сильнее действовать всеми мышцами, когда испытываются сильные страдания. Так как мы более всего употребляем мышцы груди и органов голоса, то действие прежде всего и выразится именно в них, и тогда получатся громкие, хриплые вопли или крики. Таково возможное происхождение обычного симптома сильного страдания—стоны или крика.

Дюшен изучал мимические проявления различных эмоций. Искусственным путем (электрическим раздражителем) сокращая те или иные мышцы лица, он имел возможность с большой определенностью характеризовать мимику различных чувств. В частности можно сказать, что печаль, страдание выражаются обычно сокращением мышцы, сдвигающей брови (*m. corrugator supercilii*); внутренние концы бровей под-

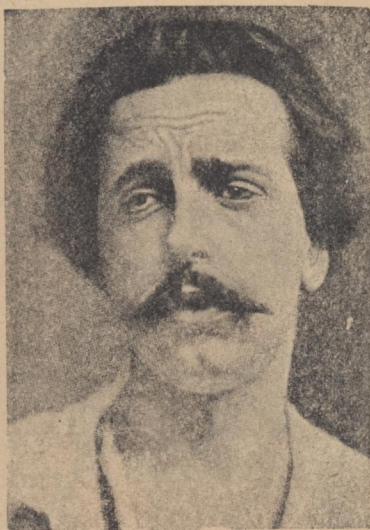


Рис. 16. Печаль. (По Дюшену.)

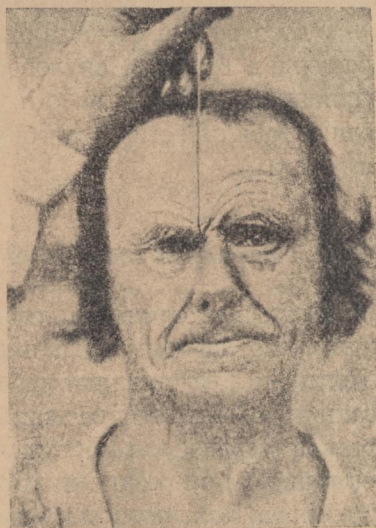


Рис. 17. Злость. Электрическое сокращение пирамидальной мышцы носа. (По Дюшену.)



Рис. 18. Упадок духа.
(По Дарвину.)

нимаются, благодаря чему брови принимают типичное для страдания косое положение (рис. 16). Вспомним здесь также известное изображение Лаокоона. Для злости весьма характерно сокращение пирамидальной мышцы носа (*m. piramidalis nasi*); лицо принимает типично злобное выражение с опущенными вниз внутренними концами бровей и поперечными морщинами на переносице (рис. 17).

Верным признаком «упадка духа» является опускание углов рта благодаря деятельности соответствующих мышц рта (*depressores angulorum*) (рис. 18).

«Замечательно,—пишет по этому поводу Дарвин,—какое незначительное опускание углов рта придает лицу выражение упадка духа или уныния; весьма незначительного сокращения этих мышц уже бывает достаточно, чтобы выдать душевное состояние».

Удовольствие, радость отпечатлеваются на нашем лице сокращением большой скуловой и нижней орбитной мышц (*m. zygomaticus major* и *m. orb. inf.*); рот растягивается вширь («лицо расплывается в улыбку»), глаза несколько сощуриваются (рис. 19).

§ 6. Роль ущемленных аффектов. Психоанализ.

Итак, в итоге всего сказанного выше в этой главе мы видим, что наши чувства и аффекты, если рассматривать их объективно, представляют собою не что иное, как особого рода реакции, охватывающие как деятельность наших внутренних органов (сердца, дыхания, желез и т. д.), так и сферу внешних движений (мимические и пантомимические движения). Возникая на почве влечений и инстинктов, наши эмоции носят активный, действенный характер еще и в том отношении, что служат начальным двигателем наших поступков. Достаточно вспомнить лэди Макбет, Чичикова, Отелло, чтобы уви-

деть, как честолюбие, алчность, ревность и др. чувства порою всецело определяют поведение человека. Можно поэтому сказать, что всякий аффект, всякая эмоция так или иначе проявляется вовне, — в виде ли теснейшим образом связанных с ними выразительных движений или в виде дальнейших предумышленных действий. Нетрудно видеть, что обычные условия нашей жизни сплошь и рядом не дают нам этой возможности естественным образом «отреагировать свои аффекты». Будучи оскорблены или разгневаны поведением сослуживца или начальника, мы тем не менее не плачем, не деремся и не грозим ему кулаками; будучи в опасной обстановке, но не желая прослыть трусом, мы всячески скрываем малейшие внешние признаки переживаемого нами страха; вспышки полового чувства также не могут получить себе сплошь и рядом естественного внешнего проявления. Условные приличия, юридические, этические нормы, принятые в окружающей среде, заставляют нас многие охватывающие нас аффекты подавлять в себе, гасить, не давая им вылиться наружу, как того требовало бы их непринужденное развитие.



Рис. 19. Смех. Радость. (По Дюшену.)

Как ныне выясняется, подобное подавление в себе внешних обнаружений аффектов, «ущемление» их не проходит бесследно. Вытесненные из сферы сознания эмоции со связанными с ними представлениями продолжают жить и влиять на наше поведение. Больше того: влияние их может быть настолько значительно, что у субъекта наступают явно болезненные нервно-психические расстройства. Этому кругу явлений уделил свое внимание Брейер и венский невропатолог *З. Фрейд*. Последним и предложена широко теперь известная теория *психоанализа*, подвергшаяся позже добавлениям и исправлениям со стороны *Блейлера*, *Юнга*, *Адлера* и др. Сущность психоаналитического понимания можно свести к нижеследующему. Вытесненные из

сознания, подавленные нами в себе, неотрагированные аффекты не исчезают еще тем самым из нашей психики, но лишь переходят в сферу бессознательного, откуда и продолжают самыми различными путями обратно проникать в сознание, вмешиваясь в наши поступки и обуславливая то описки, то оговорки, то забывания, то, наконец, тяжкие расстройства истерического характера («бегство в болезнь»). Происходит как бы постоянная борьба между нормами окружающей нас среды, стремящимися устранить, запретить и затормозить реализацию многих обуревающих нас аффективных влечений, с одной стороны, и этими последними из подполья, хитростью рвущихся к своему удовлетворению — с другой. Так, у *Брейера*, например, была пациентка, интеллигентная девушка 21-го года, в течение целых двух лет страдавшая расстройством движений глаз, а в течение двух последних недель не могшая и ничего пить, несмотря на мучительную жажду. Эти расстройства продолжались до тех пор, пока больная случайно, будучи в состоянии гипноза, со всем жаром не рассказала о некоторых пережитых ею сильных аффектах, в свое время ею ущемленных и не нашедших нужного проявления, которые и обусловили последующую водобоязнь и болезнь глаз. Она рассказала раз о своей компаньонке, англичанке, которую она очень не любила, и именно рассказала о том, как однажды застала противную ей собачку, этой англичанки за питьем воды из ее стакана. Охвативший ее тогда сильнейший аффект омерзения она, из вежливости к присутствующей здесь же своей компаньонке, должна была подавить в себе, результатом чего и был развившийся у нее позже ничем более необъяснимый отказ от воды вообще. «После того, как в сумеречном состоянии больная энергично высказала свое отвращение, она потребовала пить, пила без всякой задержки много воды и проснулась со стаканом у рта. Болезненное явление с тех пор прошло совершенно». Наблюдавшиеся у нее расстройства зрения, по Брейеру, также сводятся к подобному же «психическому ранению» — «психической травме»: больная, сидя у постели своего больного отца, всячески старалась скрыть от него навertyвающиеся ей на глаза слезы, всячески не давала своей эмоции как-либо проявиться. Живой рассказ врачу о пережитом заставляет пациентку вновь его перечувствовать и тем самым как бы разряжает болезнетворный аффект: болезненные расстройства исчезают.

Как уже упоминалось выше, мелкие психопатологические явления обыденной жизни, по Фрейду, также объясняются влиянием вытесненных желаний—аффектов. Эти последние прорываются из бессознательного, например, в наших *обмолвках*. Врач лечит богатую больную. О гонораре он старается не думать, гоня от себя подобные мысли, как постыдные. И тем не менее, когда больная поправляется и врач рисует ей перспективы приятного отдыха на лоне природы, он оговаривается: «если вы, на что я надеюсь, *не* скоро встанете с постели». Несознаваемый им эгоистический мотив—желание подольше лечить богатую пациентку—прорвался сам собою из своего подполья и вставил словечко «*не*». Фрейд приводит еще такой случай из собственных наблюдений. «Однажды я встретил в наших горах, в доломитовых пещерах двух венков, одетых, как туристки. Я прошел с ними часть дороги и мы говорили о наслаждениях и тяготах образа жизни туристов. Одна из них согласилась, что такое провождение времени в течение целого дня сопряжено с некоторыми неудобствами. «Так неприятно,—сказала она,—все время шагать по солнцепеку, когда кофта и рубашка совершенно пропитаны потом». Здесь она немного заминается и продолжает: «Когда приходишь *nach Hose* (вместо *nach Hause*—«домой», *Hose*—что значит «панталоны») и есть возможность переодеться...» Мы не анализировали тогда этой обмолвки, но, мне думается, ее не трудно понять, — пишет Фрейд.—Дама хотела более исчерпывающе перечислить белье и сказать: кофта, сорочка и панталоны... Упоминание о панталонах, как неблагопристойное, было обойдено, но в следующей, по содержанию уже вовсе независимой фразе, произнесенное слово появляется в виде искажения сходного с ним слова *Hause*».

Председатель австрийской палаты депутатов однажды открыл заседание словами: «Уважаемое собрание. Присутствует столько-то депутатов. Объявляю заседание *закрытым*». Очевидно, ему в глубине души, действительно, хотелось поскорее закрыть его.

Скрытые, вытесненные желания прокрадываются наружу, чтобы себя реализовать, также и во всякого рода *очитках* и *описках*. Еще значительнее их влияние на память. Наши забывания очень часто представляют собою не что иное, как реализацию, осуществление наших ущемленных аффектов. Мы за-

бываем часто как раз то, что хотели бы уничтожить и в реальной действительности или же что-либо сходное с этим. Поэтому, например, имена и фамилии лиц нам неприятных очень легко улетучиваются у нас из памяти. Опять-таки у *Фрейда* приводится такой случай, наблюдавшийся *Юнгом*: «некто У безнадежно влюблен в даму, вскоре вышедшую замуж за Х. Хотя У очень давно знает Х и ведет с ним все время дела, он, однако, всегда забывает его фамилию, и всякий раз, когда ему нужно написать Х деловое письмо, он должен спрашивать, как фамилия Х. Очевидно, У и знать не хочет своего счастливого соперника: «И думать о нем не хочу». Мы часто упорно не можем удержать в памяти дни и часы предстоящих скучных для нас заседаний. У *Юнга*, далее, описывается, как один субъект, декламируя известное стихотворение «На севере диком», неизменно запинался, переходя к словам «и снегом сыпучим покрыта, как ризой, она»; эти слова им совершенно забывались. Юнг заинтересовался причиной этого удивительного забвения. В результате опроса субъекта о всех возникающих у него образах и мыслях выяснилось, что при словах о белой ризе у него появлялась мысль о саване, которым покрывают покойников; отсюда мысль переходила на воспоминание о недавней внезапной смерти одного знакомого, по своему телосложению походившего на него самого. Субъект в данном случае, как замечает Юнг, отождествил себя бессознательно с сосною, окутанной белым саваном. А так как перспектива смерти, конечно, резко противоречила инстинкту жизни, то и подверглась вытеснению из сознания испытуемого, а поэтому забытыми оказались и соответствующие слова стихотворения, ассоциативно связанные с подобным неприятным представлением.

Этим же принципом можно объяснить и то, что мы и вообще скорее забываем неприятное, чем приятное. Нашей памяти таким образом присущ известный оптимизм. Опыты *Петерса* и *Немечека* показали, что, действительно, в воспоминаниях о событиях нашей молодости воспоминаний о приятном больше, чем воспоминаний о неприятном. У взрослых лиц отношение количества приятных воспоминаний к количеству неприятных оказалось в среднем равным 2,17. Отсюда понятной становится и психология идеализирования прошлого и «доброго старого времени» вообще.

Передают, что Дарвин, зная подобное свойство нашей памяти особенно легко забывать неприятное, поставил себе за

правило с особенным тщанием записывать все наблюдения, идущие в разрез с имеющимися у него ожиданиями и гипотезами. Вытесненные, заторможенные аффекты и стремления добиваются все же своего часто окольным, так сказать, путем, избегая тем самым подавляющей цензуры; они реализуются в том или ином, часто незначительном самом по себе, *символическом действии*.

Фрейд рассказывает нам со слов одного своего друга, как знаменитая артистка Элеонора Дузе «в одной из своих ролей совершает симптоматическое действие, ясно показывающее, из каких глубоких источников идет ее игра. Изображается драма супружеской неверности; героиня только что имела объяснение с мужем и стоит теперь в стороне, погруженная в мысли, ожидая соблазнителя. В этот короткий промежуток времени она играет обручальным кольцом на пальце, снимает его, надевает вновь и опять снимает: теперь она созрела уже для другого».

Фрейд считает возможным утверждать, что процессы человеческого творчества вообще двигаются в большой мере этими же закулисными факторами,—нашими заторможенными и погруженными в подсознательное стремлениями. Таково по нему происхождение наших мифов, сказок и многих религиозных представлений. Неудовлетворенные в жизни страсти находят себе удовлетворение в символических сочетаниях образов и действий. В сновидениях мы также—прямо или символически—осуществляем наши затаенные, «ущемленные» желания. Невозможность как-либо, хотя бы компромиссно, реализовать эти желания в действительности заставляет нас «бежать в болезнь», уходить от реальности в мир фантазий,—часто впадать в невроз.

«Невроз,—говорит Фрейд,—заменяет в наше время монастырь, в который обычно удалялись все те, которые разочаровались в жизни или которые чувствовали себя слишком слабыми для жизни». В крайних случаях подобные сгустившиеся, не находящие себе разряда аффекты могут обуславливать резкие внешне заметные болезненные расстройства. Примеры подобных расстройств мы и видим в вышеприведенном случае больной Брейера. При благоприятных условиях, напротив, субъекту удается направлять разряд своих ущемленных аффектов в русло иных, жизненно более полезных и ценных, деятельностей. Подобное перенесение разряда на другие высшие цели Фрейд

называет процессом *сублимирования* (возвышения) и придает ему чрезвычайно большое значение для всего развития нашей культуры. Благодаря сублимированию личная обида и жажда мести могут стать несознаваемыми стимулами общественно-полезной деятельности. Неудовлетворенная сексуальность может вести к преувеличенной религиозности; художественное и интеллектуальное творчества также, по Фрейду, часто питаются из сексуального же источника. И у *Шопенгауэра* еще мы находим мнение, что «в те дни и часы, когда половое влечение достигает наивысшего напряжения, когда оно является не слабым тяготением, рожденным пустотою и тупостью сознания, но представляет пламенную жажду, могущественный пожар, тогда именно созревают высшие духовные силы, большие того, сознание готово для величайшего творчества, хотя в тот момент, когда сознание отдано во власть желания и всецело поглощено им, это и незаметно. Но достаточно только мощного усилия, чтобы оно изменило свое направление и место мучительного, требующего удовлетворения страстного желания (царства ночи) заступает работа высших духовных сил».

Там, где подобное перенесение стремления на высшую цель почему-либо не удастся, вытесненный аффект может бурно и неожиданно проявиться в нашем поведении по какому-нибудь совсем незначительному поводу: начальник «срывает свой гнев», накопленный по поводу семейных неурядиц, на своих подчиненных, придираясь к малейшим их служебным упущениям, и т. п.

Таковы основные понимания психоанализа. Нетрудно видеть, что ни один педагог не должен их игнорировать. Наше поведение от самых обычных и повседневных его проявлений, вплоть до исключительных моментов творчества или болезни оказывается зависящим от необозримого множества пережитых нами, но не нашедших себе полного проявления эмоций. От условий, в которых мы жили и живем, зависит в конце-концов, превратятся ли наши рожденные инстинктами желания-аффекты в нечто болезнетворное, в «психическую травму», заставляющую нас «убегать» от реальности «в болезнь», или же они волеют лишь новую энергию в наши культурно-ценные активности. Всемерное способствование такому сублимированию и есть в сущности первейшая задача педагога.

Фрейд утверждает, что тщательный анализ многих фактов привел его к тому убеждению, что основными, главнейшими факторами вышеописанных явлений служат вытесненные нами эмоции характера эротически-сексуального. «Я не знаю, отвечает он на возможное возражение, почему другие, несексуальные, душевные волнения не должны вести к тем же результатам, и я ничего не имел бы против этого; но опыт показывает, что они подобного значения не имеют и самое большое, что они помогают действию сексуальных моментов, но никогда не могут заменить последних». Сексуальные переживания сказываются гораздо раньше периода полового созревания. Ребенок с самого начала, по Фрейду, обладает сексуальными инстинктами. Последние могут быть и совершенно независимыми от функции размножения. Источником детской сексуальности служат раздражения некоторых особенно чувствительных частей тела ребенка, так называемых эrogenных зон (половые органы, отверстия рта, заднего прохода, мочеиспускательного канала, слизистых оболочек). Получая удовольствие от раздражения этих мест (напр., раздражение рта при сосании), ребенок пребывает, как говорят психоаналитики, в фазе аутоэротизма. Сексуальность этой поры переходит постепенно в следующую стадию, требующую уже другого объекта. Здесь дети нередко испытывают удовольствие от причинения боли другим (садизм), любят смотреть на акты мочеиспускания и испражнения, испытывают сами удовольствие от этих отпражнений и т. д. В эту пору дети еще гомосексуальны—разница полов для них не важна. Позже объектом любви становятся родители; при этом Фрейд находит возможным утверждать, что дети испытывают как бы известную ревность сексуального порядка—сын хочет быть на месте отца, дочь на месте матери. Миф о царе Эдипе, убивающем своего отца и женившемся на своей матери, по Фрейду, есть выражение вытесненного детского сексуального желания подобного же рода.

Нельзя отрицать важного значения сексуального инстинкта, но едва ли можно согласиться все же со всеми, порою очень натянутыми толкованиями фактов, которые дает Фрейд и его последователи. Сомнения возникают *) и по поводу методи-

*) Э. Крепелин пишет, напр.: «на основании разностороннего опыта я утверждаю, что продолжительные и настойчивые расспросы больных об их интимных переживаниях, а также обычное сильное под-

ческих приемов исследования. Бесспорно и то, что сексуальный инстинкт не является единственным, на почве коего у нас могут возникать и возникают всякого рода психические травмы и прочие вышеописанные явления. Адлер и некоторые другие психоаналитики справедливо указывают, что ущемлению, в условиях нашей социальной жизни подвергается не только сексуальный, но часто и все прочие наши инстинкты, напр., наша гордость. Несмотря на существенность подобных ограничений и дополнений, теория психоанализа Фрейда остается в своих существенных чертах ими непоколебленной.

Остается лишь в заключение пожелать, чтобы теория эта, изложенная своеобразными, оригинальными терминами, не оставалась бы изолированной, стоящей особняком от всей прочей системы наших психологических знаний, но была бы включена в эту последнюю. Понятия вытеснения, символизации, сублимации и другие должны быть для этого переведены на язык общепринятых психологических терминов; законы фрейдовского бессознательного должны быть подчинены общим закономерностям психической жизни и прежде всего законам торможения и ассоциации. Попытки к этому уже и делаются со стороны некоторых русских рефлексологов (Бехтерев, Залкинд).

§ 7. Общие свойства чувств.

Упомянем, наконец, еще о некоторых общих свойствах наших чувств. Прежде всего остановимся на их *притупляемости*. По мере того, как какое-либо впечатление все дольше и дольше воздействует на нас, вызванное им чувство сперва растет, затем останавливается на некотором постоянном уровне с тем, чтобы далее начать уже ослабевать и падать до точки безразличия, а в других случаях так и переходить за нее, превращаясь в чувство противоположное. Представьте себе, что по соседству с вашей комнатой живет консерваторка, неизменно играющая одни и те же пьесы. Сперва музыка будет вам приятна, по мере некоторого усвоения вами музыкальных деталей играемых вещей—удовольствие от них возрастет еще больше; если музыка продолжается все дольше, вы станете к

черкивание половых отношений и связанные с этим советы могут повлечь за собою самые неблагоприятные последствия». (Введение в психиатр. клинику. Москва, 1923. Под ред. проф. Ганнушкина, стр. 456.)

ней безразличны, а в дальнейшем, вероятно, у вас возникнет от нее уже неудовольствие—те же звуки станут для вас уже определенно неприятны. Не всегда, однако, наблюдается такой переход чувства в свою противоположность. Чаще оно просто все более и более остывает. Так, мы «присматриваемся» и делаемся безразличными к самым красивым видам, «прислушиваемся» к самой хорошей музыке, «перестаем возмущаться» постоянно совершающимися безобразиями, «не замечаем» постоянно испытываемых благ и т. д.

Эмоционально чувствуем мы не столько устойчивые состояния удовлетворения или неудовлетворения тех или иных наших стремлений, сколько изменения, перемены в степени такого удовлетворения или неудовлетворения. Иными словами, мы не так замечаем «хорошо» или «плохо», как «лучше» или «хуже». Поэтому, одни и те же впечатления (например, одно и то же наказание) на одного субъекта не произведет никакого эмоционального действия, другого же затронет глубочайшим образом. Конкретно говоря: повышенный голос учителя для школьника, привыкшего к грубому обращению, пройдет незамеченным, на школьника же, выросшего в обстановке мягкого с ним обращения, сразу подействует предостерегающе. Отсюда понятным становится и требование индивидуализации педагогических мер воздействия.

Значительность того или иного чувства зависит от его отношения к другим, имеющимся у нас в данный момент, чувствам. Чувства таким образом подчинены закону *контраста* или *относительности*. Потеря перчаток не вызовет у нас огорчения в минуту горя по поводу смерти друга; ребенку, имеющему игрушки в избытке, каждая новая подаренная игрушка доставит все менее и менее радости—лишь что-либо «из ряда вон выходящее» будет им особо замечено. Приятное на фоне еще более приятных впечатлений меркнет и наоборот. Не даром народная мудрость и говорит, что «лучшее есть враг хорошего».

В заключение отметим склонность чувств *иррадировать*, растекаться на все впечатления, смежные с прямым раздражителем этих чувств. Поэтому-то неприятное чувство возникает у нас, например, уже при виде двери квартиры зубного врача; испытав неприятности от одного какого-нибудь англичанина—мы начинаем чувствовать неприязнь ко всему английскому вообще. И, наоборот, любовь к какому-нибудь лицу делает для

нас часто милыми не только его самого, но и его одежду, обстановку его окружающую, самый город, в котором оно живет, и т. д. Этим же свойством наших чувств объясняется и то, что любовь к цели переходит у нас часто в любовь к самим средствам достижения этой цели.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.

- В. Джэмс. Основы психологии. Гл. об эмоциях.
Г. Ланге. Душевные движения. Изд. Павленкова, СПб. 1896.
Т. Рибо. Психология чувств. Изд. «Иогансон». 1912.
З. Фрейд. Лекции по введению в психоанализ. Том I. Гос. Изд. 1922, и другие его сочинения.
Ч. Дарвин. О выражении душевных движений у животных и человека. 1896.
А. А. Казлас. К вопросу о природе и выражении эмоций. В журн. «Психологич. Обзорение». Т. I, вып. 3—4. Москва, 1918.
И. А. Сикорский. Общая психология с физиогномикой. Киев. Отдел V. Физиогномика.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Мышление.

§ 1. Природа мыслительной реакции.

Наше взаимодействие с противостоящим нам миром сравнительно лишь в очень немногих случаях осуществляется путем простого рефлекса, когда то или иное впечатление, в силу анатомического устройства нашей нервной системы, тотчас же и неизменно влечет за собою определенное ответное действие. В громадном большинстве наших жизненных случаев реакция оказывается совсем не столь непосредственной и стереотипной. Вмешивается наша ассоциативная память, и вместо простого рефлекса мы уже имеем «реакцию по памяти» или «сочетательный» рефлекс. Так, мы боязливо сторонимся чужих собак, улыбаемся, завидя друга, в определенный час одеваемся и идем на службу, написав письмо, протягиваем руку за конвертом и т. д., и т. д. Все наши обычные, привычные поступки целиком подходят под эту группу реакции. Жизнь, однако, настолько богата, что сплошь и рядом дает нам совершенно новые, не испытанные доселе, впечатления. Простого рефлекса они не влекут: не будят они прямым образом и каких-либо привычных ассоциаций по смежности. Между тем игнорировать подобные впечатления нам никак нельзя. Новое, необычное часто бывает биологически наиболее для нас важным и значитель-

ным. Не уметь должным образом выйти из совершенно новых положений, в которые жизнь нас, порою, ставит, значит, нередко сразу же оказаться существом, обреченным на гибель. Обычно, однако, мы не теряемся и пред лицом новых, впервые нам данных воздействий. Если впечатление не влечет за собою ответа путем прямого врожденного рефлекса и—в силу новизны—не воспроизводит никаких реакций, связанных с ним по ассоциации смежности, то у нас остаются еще три возможности ответа. Во-первых, мы можем предоставить энергии ответного разряда разряжаться совершенно случайно по линии наименьшего сопротивления (таково и бывает поведение всякого «потерявшего голову» человека во время, например, пожара или какого-нибудь другого неожиданного нового и важного происшествия). Во-вторых, мы можем отвечать на новые для нас впечатления, просто подражая окружающим нас другим людям. Особенно будучи в тесной связи с этими окружающими, мы невольно, часто совершенно «обезличиваемся», перенимая взгляды, чувства и манеры поведения окружающей нас среды. Примеры подобного несамостоятельного подхода и отношения ко всему новому в избытке дает поведение отдельного человека, находящегося в толпе, в кругу авторитетных для него лиц и т. п. Ниже, когда мы будем говорить о явлениях внушения, мы увидим, как заражающе влияет на нас, порою, чужой пример. В-третьих, наконец, бывают и такие случаи, когда наш ответ на новое возникшее впечатление не носит ни случайного, ни подражательного характера. Натолкнувшись, например, неожиданно на то, что хорошо до сих пор запиравшаяся дверь нашей комнаты вдруг перестает запираться, мы не мечемся бесцельно, не воспроизводим чьих-либо чужих действий над этою дверью, не подражаем и кому-нибудь из сейчас окружающих нас лиц, но принимаемся самостоятельно искать причину незапирания двери, сообразно с чем предпринимаем меры и к ее устранению. Подобного рода действия мы, по справедливости, называем разумными и ставим их в связь с теми *мыслительными процессами*, которые протекают в сознании субъекта в промежуток времени между получением им впечатления и ответным действием.

Представители рефлексологии предлагают и эти высшие умственные процессы понимать как те же сочетательные или условные рефлексy лишь более сложного порядка, т.-е., как в конце-концов процессы ассоциации по смежности. Мы отнюдь не

возражаем против методологической законности подобной точки зрения. Нам кажется лишь, что педагогу здесь больше даст все же описательно- и генетически-психологический анализ процессов мышления, чем теоретическо-рефлексологическое их истолкование, в настоящее время не идущее еще в этой области дальше утверждений весьма общего характера.

Итак, что же представляют собою процессы мысли, лежащие в основе нашего самостоятельного ориентирования по отношению к новым для нас впечатлениям?

Обратимся к случаям из обыденной жизни, в коих мы вынуждены бываем подумать. Допустим, например *), что я, возвращаясь к себе домой, вижу, что на моем письменном столе обычное расположение вещей резко нарушено и царит полный беспорядок. Это обстоятельство вызывает у меня чувство живейшего изумления. Я задаю себе вопрос—что бы этот беспорядок мог значить? Что мне теперь надлежит делать? Моя мысль начинает работать. Новое, необычайное впечатление (полный беспорядок на письменном столе) я пытаюсь так или иначе объяснить, т.-е. как-либо включить в систему обычных для меня фактов и событий. Может быть, у меня в мое отсутствие был обыск, может быть, произошла кража, может быть, все это результат хозяйничанья моего ребенка, может быть, кто-либо из домашних, искал спрятанные мною и понадобившиеся им ключи и т. д. Мои дальнейшие поступки явным образом будут зависеть от того, какую из этих многочисленных возможностей я приму за истинную: если были вору—надо сообщить в милицию; если беспорядок произведен ребенком—надо просить присматривающих за ним взрослых не допускать этого впредь и т. д. Поэтому мне необходимо на том или ином ответе остановиться. Необходимо о наблюдаемом беспорядке сказать «он есть результат таких-то причин». Схематически говоря: необходимо к данному подлежащему найти сказуемое, решить: «S есть Р». Подобного рода утверждение или отрицание чего-либо о чем-нибудь (об некоем S я утверждаю, что оно есть Р) является *суждением*. То, о чем мы утверждаем или отрицаем что-либо, является психологическим подлежащим, а то, что мы о нем утверждаем или отрицаем, есть психологическое

*) Сходный же пример анализирует Д. Дьюи в своей книге «Психология и педагогика мышления».

сказуемое. В приведенном нами выше примере, суждение о том, чем вызван беспорядок на письменном столе, может состояться лишь в результате известной предшествовавшей работы мысли, лишь в результате процесса *рассуждения*,—одного внимательного восприятия исходного факта для образования суждения здесь недостаточно.

Рассуждение начинается с изумления, с вопроса: «что за непорядок у меня на столе?» За ним следует более пристальное восприятие вызвавшего изумление факта. Мы выдвигаем ящик стола и смотрим, не пропали ли лежавшие там бумаги и ценные вещи. В зависимости от результатов подобного осмотра, мы строим ту или иную догадку: «это дело рук воров», или «это домашние искали ключ», или какую-либо другую. Мы не останавливаемся, однако, всегда на первой всплывшей у нас догадке; мы *ищем оснований для нашей уверенности* в том, что она истинна, что данное S действительно есть Р. Для этого мы вскрываем содержание сделанного допущения, выводим вытекающие из него следствия и сопоставляем их с тем, что дает нам внимательное рассмотрение исходного факта. Допустив, что «беспорядок есть дело рук воров», я делаю естественные выводы, вытекающие из понятия о воровстве. Именно: я замечаю, что воровство всегда сопровождается похищением ценных вещей; смотрю, соответствует ли это следствие наличной действительности. Если да, и все ценные вещи, бывшие на столе, действительно, пропали,—я полагаю свою догадку истинной; если же нет и, несмотря на полный кавардак на столе, ценные вещи с него никуда не исчезли,—я уже отбрасываю мысль о ворах и обращаюсь к построению и проверке одного из других возможных допущений.

Другой пример. Я повертываю выключатель электрической лампочки, но она не загорается. Это для меня неожиданность, и я удивлен. Задаю себе вопрос: отчего бы лампочке не гореть? Возможно, что она перегорела, возможно, что порвался провод, возможно, что перегорели предохранительные пробки, возможно, что она просто не достаточно плотно ввинчена и т. д. Прежде чем остановиться на одном из этих решений, я принимаю одно из них, делаю из него соответствующие выводы, смотрю на согласие или несогласие их с тем, что имеется в действительности, и в зависимости от этого, принимаю его или же перехожу к подобному же примериванию прочих возможных допущений.

Когда перед нами встает необходимость сделать выбор между несколькими различными возможностями поведения (например, заняться ли нам сейчас же практической деятельностью или же продолжать доканчивать свое образование), то,—если только мы не решаем следовать лишь непосредственно более приятной перспективе,—мы оказываемся вынуждены опять-таки *рассудить*, будет ли полезнее для нас и для общества, если мы сейчас же выйдем из школы, или же если мы проучимся в ней до полного окончания курса. Иными словами, нам опять-таки надлежит вынести и обосновать то или иное суждение. Если мы «оставление сейчас школы» назовем через S_1 , а «наиболее полезное для меня и для общества поведение» через P , то разумно выбрать между нашими двумя возможностями и будет значить принять суждение « S_1 есть P » или « S_1 не есть P » за истинное.

Таким образом мы можем видеть, что в мышлении мы *стремимся всегда к установлению обоснованного суждения. Суждение же есть*, как мы уже упоминали, утверждение или отрицание чего-либо о чем-нибудь, т.-е. есть всегда *установление отношений между предметами*. Поэтому-то установление соотношений между предметами мы и можем считать основной и характерной функцией мышления. Соотнося новое со старым, наша мысль делает нас способными оперировать и с этим новым. «Рассуждение», пишет Джэмс, «помогает нам в таких положениях, которые ранее никогда не случались... это есть способность иметь дело с совершенно новыми фактами».

Чрезвычайно важно для педагога иметь в виду, что не всякое суждение есть продукт самостоятельной работы мысли. Как хорошо известно, сплошь и рядом мы просто повторяем и воспроизводим суждения чужие, вынесенные не нами. В таком случае, хотя бы мы пересказали и целую цепь связанных мыслей, все же это будет в большей мере работа нашей памяти, чем нашего мышления. Для того, чтобы заработала наша собственная мысль, необходимо соблюдение одного условия. Именно: необходимо, чтобы у нас возник вопрос, возникло состояние удивления, недоумения. Не даром ведь древние и говорили, что «изумление есть мать всякой философии». Человек, неспособный изумляться, будет человеком неспособным и к самостоятельному мышлению. В наших примерах—мысль порождалась удивлением от необычайного вида стола, от необычайного поведения электрической лампочки, чувством несогласованности

двух перспектив возможного поведения. Очевидно, что, не возникши у меня по поводу всего этого удивления и вопросов,—моя мысль не пришла бы в активное состояние, как не возбуждается она совершенно обычными для меня впечатлениями, в роде, скажем, вида моего дома и т. п. Лишь необычайное, неожиданное, т.-е. в конце-концов нечто, не согласующееся с имеющимися у нас представлениями, будит мысль. Суждение есть всегда ответ на вопрос.

Отсюда становится понятным, что задумывается особенно часто тот, кто способен тонко подмечать особенности предметов и благодаря этому чувствовать обычность или необычность тех или иных впечатлений. Поэтому то, что профану просто скучно, специалисту дает массу интересных тем для размышления.

Заметив необычайность впечатления, его несвязанность со всеми прочими нашими знаниями, мы должны постараться привести его в то или иное соотношение с этими последними. Для этого мы, как уже упоминалось выше, строим сперва ту или иную догадку, подводящую новый факт под какую-нибудь более общую (и потому, более для нас обычную) рубрику,—говорим, например: «это воровство», «это—проявление себялюбия», «этот путь поведения более полезен» и т. д., и т. п. Догадка такая не носит, конечно, произвольного характера, но зависит от того, что представляется для нас существенной чертой исходного факта. Увидев беспорядок на столе, я могу особенно отметить то обстоятельство,—растрепаны все мои деловые бумаги, и тогда, естественно, у меня возникнет предположение об обыске. Если же мне особенно бросилась в глаза пропажа часов,—всплывет, конечно, мысль о воровстве. В зависимости от того, берем ли мы за отправный пункт тот или иной признак вызывающего мысль предмета—наши догадки, «предикации», будут различны. Но ведь на один и тот же предмет можно посмотреть с самых различных точек зрения, сообразно чему в нем откроются для нас различные признаки. Перемещенные вещи на письменном столе могут ведь рассматриваться с точки зрения красоты нового их расположения, с точки зрения удобства этого расположения для занятий за столом, с точки зрения скорейшего водворения их на их прежние места, с точки зрения причины их перемещения и т. д. Для каждого из этих подходов существенным признаком явления будет различное (симметричность расположения, относительное положение чер-

нильницы и пера, разбросанность вещей друг от друга, сохранность деловых бумаг и ценностей и т. д.). Жизненно более важным является подход с точки зрения причины происшедшего беспорядка. Поэтому именно он-то прежде всего сказывается у каждого из нас. Итак, мы подходим к расчленению явления на его отдельные свойства, к *анализу исходного факта*, всегда с какой-нибудь точки зрения, хотя бы она нами самими и не сознавалась. Анализируя явление, мы видим, что оно имеет ряд признаков: *S* характеризуется чертами *n*, *m*, *p*. Но мы уже заранее знаем, что *m* есть признак некоего *P*. А отсюда наша мысль приходит к утверждению: *S* есть *P*. Беспорядок на столе характеризуется похищением ценных вещей, похищение же ценных вещей есть всегда проявление воровства. Отсюда — беспорядок есть результат воровства. *S* приводится в связь с *P* через посредство *m* по силлогизму

S есть *m*

Все *m* суть *P*

Следовательно *S* есть *P*.

Нетрудно видеть, что подобный переход от *S* к *P* будет логически правильным лишь в том случае, когда средний термин *m* хотя бы в одной посылке взять во всем объеме (т.е. мы имеем право сказать «все *m*»). В противном случае вывод будет *логически* невозможен. Между тем психологически мы нередко как раз так-то и умозаключаем. Например: «*NN* не поклонился мне, встретившись со мною на улице; не кланяются своим знакомым люди невежливые; следовательно, *NN* невежа». Подобная схема умозаключения в обыденной жизни, к сожалению, весьма обычна. К счастью, мы, прежде чем окончательно признать *свою догадку* истинной, обычно *поверяем ее*. Для этого мы вскрываем, вытекающие из нее следствия и сопоставляем их с тем, что фактически имеется в вызвавшем наше рассуждение факте. Если беспорядок на столе есть дело рук воров, то воры должны были похитить не только, скажем, лежавшие в столе часы, но и все прочие ценные вещи. Обращаясь к фактам, смотрю, действительно ли пропали ценные вещи и помимо часов. Совпадение следствия допущения с действительностью подтверждает его; в противном случае, мы делаем другое предположение. С строго логической точки зрения такой метод проверки тоже ошибочен: как правило — нельзя заключать от следствия к причине (если мостовая мокра, это еще не доказательство, что был дождь).

Однако, поскольку следствие прочих допущений (гипотез) опытом не подтверждаются, а следствие данной гипотезы с ним согласуется практически, мы считаем себя в праве признавать это последнее допущение истинным. Так поступаем мы ведь и в процессе построения теорий—гипотез в науке. Чем больше следствий построенной гипотезы находит себе соответствие в налично данном и чем труднее согласовать это налично данное со следствиями иных допущений, тем наше объяснение явления кажется нам более достоверным.

В умении быстро вскрыть в целом явлении как раз черту, особенно существенную для правильного ответа на возникший вопрос, и сказывается то совершенство нашего ума, которое Джэмс характеризует, как *прозорливость*. Благодаря ей, мы и бываем способны вносить в рассмотрение предмета все новые и важные точки зрения. Как справедливо указывает тот же Джэмс, подметить опосредствующий признак,—средний термин *m*, бывает обычно много труднее, чем затем отнести его к тому или иному понятию, *P*. Последнее есть уже дело, в большей мере лишь наших познаний, нашей памяти.

Из вышеизложенного мы видим, что процесс рассуждения в его полном виде представляет собою движение нашей мысли в двух направлениях. С одной стороны, мы на почве анализа исходного впечатления строим ту или иную догадку, т.-е. так или иначе предцируем его, отвечаем, что данное *S* есть *P*. При этом *P* всегда есть понятие более общее (и потому-то для нас, обычно и более понятное), чем отправный факт нашей мысли (*S*). Поэтому построение догадки есть движение мысли от частного к общему. Такое направление есть направление *индукции*. С другой стороны, вывод следствий из сделанного допущения, в целях проверки его, есть переход от общего к менее общему, есть путь *дедукции*. Таким образом полный процесс обычного рассуждения в этом отношении вполне соответствует процессу разработки всех опытных наук, в коих мысль наша также движется и индуктивно от фактов к обобщениям, и дедуктивно—от построенных гипотез и теорий к проверяющим их фактам.

§ 2. Понятия.

Наше мышление протекает в *понятиях*. И опосредствующий окончательное суждение средний термин и само сказуемое суждения всегда бывают понятиями, т.-е. такими

умственными построениями, в которых мы имеем в виду целый класс сходных предметов. Отмечая, что данное *S* содержит в себе признак *m*, я мыслю этот признак (например, «захват чужих ценных вещей»), как понятие, поскольку имею в виду не нечто здесь и сейчас происшедшее, не только пропажу сегодня с этого вот стола моих часов такого-то качества, такой-то фирмы и за таким-то номером, но «присвоение себе чужих вещей вообще», где бы и когда бы оно ни совершилось. Точно так же и сказуемое «воровство» включает в себя для нашей мысли неограниченное множество событий, характеризующих лишь определенной совокупности признаков. Естественно поэтому, что вопрос об образовании и природе понятий является основным вопросом психологии мышления.

Понятия вырабатываются на основе отдельных восприятий. Первоначальные понятия смутны и нерасчлененны; они представляют собою результат как бы наглядного наслоения друг на друга наших однородных индивидуальных восприятий. Не даром, поэтому, их и считают более подходящим называть *общими* или *генерическими образами*, а не понятиями в истинном значении этого слова. «Чтобы выяснить природу этого умственного процесса, пишет *Гексли*, его можно сравнить с тем, что происходит в сложных фотографиях, когда, например, изображения физиономий шести лиц воспринимаются одною и тою же фотографической пластинкой, каждое в течение одной шестой того времени, которое требуется для одного портрета. В результате черты общие всем шести лицам оказываются резко выраженными, в то время, как отличия остаются смутными; таким образом получается *генерический* портрет шести лиц...» Постепенно подобные генерические образы воспринимаемых вещей проясняются и расчленяются на отдельные, присущие им признаки и превращаются в подлинные понятия. Первенствующая роль в этом анализе восприятий принадлежит нашему вниманию, выделяющему с особенной четкостью то одни, то другие черты предмета. Прежде остального выделяются те стороны его, которые особенно ярки, эмоциональны, интенсивны и практически важны, или же те, которые особенно часто на нас воздействуют. Как правило, в детстве вещи интересуют нас больше всего своею практической стороной, тем, что они делают или, что ими можно делать. «Легко убедиться в подобном утилитарном предрасположении детского ума, пишет *Клапаред*, заставив ребенка определить любой

предмет. Тотчас последуют ответы подобного рода: «нож—это чтобы резать», «лошадь—это чтобы возить» и т. п. Однажды один ученик начальной школы на мой вопрос о том, что такое мать—ответил мне: «это для того, чтобы мыть тарелки и приготавливать обед». А маленькая девочка на вопрос *Бинэ*, что такое улитка, сказала: «это для того, чтобы давить». Односторонности и несовершенства наших первоначальных восприятий свидетельствуются отчасти и характером детских рисунков. Интересно отметить здесь, например, то, что, изображая человека, дети сплошь и рядом забывают нарисовать туловище, ограничиваясь лишь изображением головы, рук и ног, т. е. частей тела особенно практически для них важных и заметных. Выделению признаков способствует сопоставление между собою отдельных восприятий—*сравнение*. Белый цвет коры березы заметится нами, конечно, скорее в том случае, если мы видим березу не изолированно, но рядом с другими деревьями. Благодаря контрасту с соседями береза «сама собою» бросится нам в глаза своею окраской. Не всегда, однако, различия между вещами устанавливаются так легко. Иные свойства предметов мы бываем в состоянии выделить и различить лишь благодаря особо благоприятствующим тому условиям, благодаря, лишь тому, что эти свойства встречаются нам в совершенно различных комбинациях. Мы отличаем запах от вкуса только потому, что в нашем опыте испытывали непахнущую пищу и запахи без одновременных вкусовых ощущений. Прозрачность была бы буквально неотделимым признаком стекла, если бы не существовало других прозрачных тел и если бы, с другой стороны, стекло не бывало и не прозрачным. *Дж. Ст. Милль* в своей знаменитой логике указывает между прочим, как нам следует комбинировать факты, чтобы искомый признак предмета скорее был бы нами подмечен. Согласно его «методу единственного сходства» для этого следует собрать ряд фактов, по возможности весьма различных, но имеющих общим как раз одно искомое свойство, тогда оно, в результате сопоставления этих различных, но сходных фактов и выступит для нашего ума с полной отчетливостью. По другому описанному им методу, «методу единственного различия», рекомендуется сопоставлять между собою два факта, напротив, совершенно сходные, кроме только того, что в одном факте наш, подлежащий выделению, признак имеется, а в другом отсутствует. Обычно мы и естественным образом следуем этим правилам, когда хотим под-

вергнуть предмет более тщательному анализу. Чтобы черты своекорыстия в поведении какого-нибудь подозреваемого нами в этом лица стали бы особенно отчетливы, мы сопоставляем поведение этого лица в известных условиях с поведением,—при тех же условиях,—лица, бескорыстность коего для нас несомненна.

Экспериментальное изучение процесса сравнения в современной психологии, работами *Мартин и Мюллера*, выдвинуло понятие так называемого «абсолютного впечатления». Названные авторы производили опыты над последовательным сравнением поднимаемых тяжестей и, как им кажется, обнаружили, что суждение испытуемых о том, что вторая тяжесть тяжелее, или легче первой обуславливаются не столько действительным сравнением двух тяжестей между собой, сколько тем безотнositельным впечатлением, какое производит на нас первая или вторая тяжесть. Если вторая тяжесть сама по себе производит на нас впечатление «легкой» — мы склонны отвечать «легче», если же она нам покажется тяжелой — мы отвечаем «тяжелее». Более тщательный анализ переживаний, имеющих место в случаях подобных оценок, подверг, однако, сомнению первоначальные утверждения Мартин и Мюллера; казалось более точным и вероятным признать, что, составляя суждение о сравнительной тяжести того или иного раздражителя, мы испытываем не просто абсолютное впечатление от него, но некоторое *ощущение различия*, т. е. уже нечто, в чем сказывается соотношение данного сравниваемого впечатления с другим. Но если таким образом учение об «абсолютном впечатлении», как главном моменте нашего сравнения, и не может считаться достаточно прочно установленным, исследования Мартин и Мюллера ценны для нас тем, что дали толчок к дальнейшему более тщательному изучению процесса сравнения. Специальные работы *Брунсвига* и др., а у нас, в России, работы *Б. Н. Северного* показали, что традиционно-популярное представление о природе этого переживания, лежащего в основе всего нашего мышления, далеко не соответствует тому, что имеет место в действительности. Обычно процесс сравнения понимается как сопоставление между собою двух или более впечатлений (представлений), между которыми нами и переживается известное отношение. На самом же деле, опыт показал, что наши переживания весьма часто подобной логической схеме вовсе не следуют. По данным рабо-

ты Б. Н. Северного, сплошь и рядом суждения об отношении второго впечатления к первому образуются непосредственно после второго впечатления; первого же впечатления при этом вовсе в сознании может и не быть. «После восприятия второго раздражения воспринимается и *различие* его от первого, в сознании ничем не представленного». Таким образом сравнение бывает и *одночленным*. Больше того, если верить показаниям самонаблюдения ряда лиц, в периоде сравнения может присутствовать *только мысль об отношении*, существующем между сравниваемыми впечатлениями. Сами эти впечатления никак в конкретных содержаниях нашего сознания при этом не присутствуют. Мы имеем здесь перед собою парадоксальный случай сравнения без того, что сравнивается. Подобное *непосредственное* сравнение близко простому восприятию отношений. Известно, например, что мы часто бываем способны заметить различие двух тонов, будучи не в состоянии сказать, какой же из них выше и какой ниже. Чем сравнение становится для нас труднее, тем оно все более утрачивает свой непосредственный характер: мы прибегаем к репродуцированию образа первого впечатления, к переменному восприятию то первого, то второго термина, к использованию всякого рода побочных вспомогательных приемов и признаков.

Выделяя отдельные признаки предметов, мы тем самым отвлекаем или *абстрагируем* их от всего прочего комплекса свойств данного предмета. Процесс абстракции может носить двоякий характер. Или это будет просто отличие моим вниманием одной черты предмета от всех прочих, т.-е. просто более ясное восприятие одной черты в данном строго индивидуальном целом предмета, или же, выделяя отдельное свойство из данного индивидуального целого, мы вместе с тем умственно обобщаем, генерализуем это выделенное свойство и мыслим его «вообще». Видя чернильницу, я могу обратить внимание на черный цвет налитых в нее чернил. При этом мною будет сознаваться черный цвет именно этих вот, здесь и сейчас передо мною находящихся чернил. Но я могу, обратив внимание на этот же признак чернильницы, помыслить о черноте просто, «черноте вообще», безотносительно к ее носителю, времени и пространству. Первый вид абстракции может быть назван *абстракцией анализирующей*, поскольку он не идет далее расчленения (анализа) целого восприятия, на отдельные его признаки. Второй же вид абстракции по справедливости удобно на-

звать абстракцией генерализующей, поскольку для ее осуществления требуется не только анализ восприятия на отдельные его свойства, но и обобщение этих свойств до степени идей не ограниченного объема. Генерализирующая абстракция предполагает не только анализ, но и *синтез*, т. е. отождествление выделенного признака у множества имеющих его предметов. Иными словами, для того, чтобы у нас могла выработаться идея, скажем, «кривизны», мы должны не только выделить свойства кривизны в нарисованном круге, видимом сейчас нами, но и отождествить эту кривизну с кривизною повертывающихся рельс трамвая, радуги на небе, поверхности дерева и т. п., мы должны уметь видеть сходства. Подмечание сходства исследовалось экспериментально несколькими авторами. Развитие

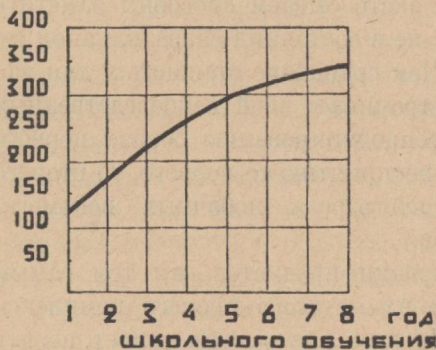


Рис. 20.

с годами школьного обучения как у мальчиков, так и у девочек. При этом ход ее нарастания для тех и других одинаков (см. рис. 20).

Абстрагированные признаки предметов комбинируются друг с другом в различные сочетания, составляющие содержание мыслимых нами понятий. Это комбинирование совершается при посредстве нашего *суждения*, утверждающего или отрицающего принадлежность одного свойства другому. Под суждением вообще мы понимаем, как то уже и видели выше, такое познавательное переживание, в котором нами принимается или отвергается существование того или иного отношения между предметами. То, относительно чего мы утверждаем или отрицаем, является подлежащим суждения. Подлежащим может служить не только абстрактное понятие, но и любой индивидуальный, конкретный предмет.

этой способности у детей школьного возраста изучал между прочим *Бюлер*. Он показывал детям на короткое время две группы фигур, при чем в каждой из этих групп одна фигура была одинаковой. Задача состояла в том, чтобы подметить эту одинаковую фигуру и ее место в группе. Результаты прекрасно доказали, что способность абстракции растет

Я утверждаю: «эта вот чернильница тяжелая». Подлежащее здесь—индивидуальная, конкретная вещь; сказуемое же есть общее, абстрактное понятие «тяжелое». Сказуемое всегда носит характер абстрактный. Даже и в таком суждении, как, например, «вот это Иван Петрович Васильев», сказуемое «Иван Петрович Васильев», хотя и обозначает единичный, индивидуальный предмет, все же является психологически понятием абстрактным, поскольку в нем мы имеем в виду не какое-нибудь единичное, пространственно и временно определенное наше восприятие этого «Ивана Петровича Васильева», но признаки, общие всем моментам его жизни и характерные для него.

Существенным для процесса суждения является признание или непризнание нами значимости отношения мыслимого между подлежащим и сказуемым—«S есть P». Переживая суждение, я полагаю, что P действительно присуще S. Простая мысль об отношении «S есть P» еще не дает суждения. Слыша чужие фразы, мы их понимаем, т.-е. мыслим те отношения между предметами, которые имеются ими в виду, однако «судить» мы еще не судим. Для переживания суждения необходим момент нашего признания или непризнания мыслимого отношения за истинное. Судящее положение мы занимаем лишь тогда, когда о некотором мыслимом отношении «есть» внутренне добавляем: «да, это так», или, напротив, «нет, это не так». В первом случае у нас возникает положительное суждение, во втором—отрицательное. Этот факт признания или непризнания данного отношения за истинное может сопровождаться различными степенями уверенности—от совершенной уверенности в том, что «это, конечно, так», через уверенность соответствующую: «это, вероятно, так», до еще меньшей уверенности: «это, возможно, так». Очень часто же мы оперируем с простыми «допущениями» относительно истинной значимости или незначимости коих мы вопроса не решаем ни в ту, ни в другую сторону, но пользуемся ими с сознанием «как если бы дело обстояло так». «Допущения» в этом отношении занимают как бы промежуточное место между простым представлением и суждением.

Переживание очевидности, сопровождающее нашу уверенность в том, что мыслимое нами соотношение S есть P, соответствует действительности, может быть мотивировано различно. В одних случаях оно может порождаться нашим чисто-теоретическим вниканием в смысл суждения, тогда как в других со

глашаться с данным суждением нас побуждают иные, вне-логические, основания. В качестве таковых каждый из нас прекрасно знает роль веры, чужого авторитета, чувства. Не даром ведь и существуют народные поговорки вроде: «не по хоропу мил, а по милу хорош», «страсть ослепляет» и т. п. Соотношения S с P , почему-либо приятные нам, идущие навстречу удовлетворения наших инстинктов, обычно рисуются нам и более истинными. Напротив, мы всячески противимся признанию суждений, резко претящих нашим чувствам. Вера в авторитет (отдельного лица или определенной группы лиц) нередко многих заставляет тотчас же соглашаться с такими суждениями, которые в другой обстановке им очевидными отнюдь не показались бы. В результате такого положения вещей нам и приходится сплошь и рядом выслушивать суждения, с логической точки зрения вовсе не обоснованные и произвольные. О них мы могли бы сказать, что «вместо разума в них сказывается просто хотение». Выработка привычки строго следить за логической доказанностью своих утверждений должна быть противопоставлена подобной, естественной для многих, манере рассуждения.

Заслуживает, наконец, упоминания и то, что различные возможные категории отношений предметов становятся доступными детскому суждению лишь постепенно и притом в определенной, закономерной последовательности. Младшие школьники, например (до 8-ми лет), пребывают на *предметной стадии* восприятия; в своих описаниях виденного они более всего просто называют самые предметы, изображенные на показанной им картинке. С 8-ми лет они начинают чаще подмечать явления, как действия, совершаемые предметами (*стадия действия*). И позже, — в возрасте от 9—10 лет, — дети уже отдают себе отчет в отдельных впечатлениях, как признаках, свойствах и отношениях окружающих предметов (*стадия признаков и отношений*).

§ 3. Данные экспериментального изучения мыслительных процессов.

Новейшая экспериментальная психология вопросам мышления уделяет большое внимание. Целый ряд исследований посвящен анализу наших мыслительных процессов понимания, суждения и умозаключения. В Вюрцбурге создалась даже особая, так называемая «Вюрцбургская школа» психологов (Марбе, Бюлер и др.), проводшая целый ряд работ, спе-

циально касающихся психологического анализа высших умственных процессов. Однако сложность самого предмета исследования, с одной стороны, а с другой—трудность и недостаточная выработанность применявшегося в этих работах метода самонаблюдения не позволили все же притти к достаточно общепризнанным и окончательным выводам. Тем не менее добытые исследователями факты представляют большой интерес и важность для всякого желающего ближе познать психологическую природу мысли. Особую важность представляют они для теоретической психологии, заставляя поставить на очередь пересмотр многих ее пониманий, казавшихся до сих пор бесспорными.

Главное, к чему привело нас систематическое экспериментальное исследование мышления, состоит в том, что *мы должны ныне определенно различать собственно мыслительные процессы от тесно с ними связанных процессов представления*. Обыденное понимание, упрощающее истинное положение вещей, всегда склонно было такого различения не делать и сводить мысли к образам. Природу понятий, казалось, так просто понять, как общее представление, получающееся у нас как бы в результате наложения друг на друга многих, имеющих общие черты восприятий (генерический образ); суждение есть сочетание или раз'единение опять-таки подобных же наглядных образов, соответствующих подлежащему и сказуемому; понимание слов и суждений всегда предполагает представление обозначаемых этими словами предметов. Фразу: «я не могу себе представить», нередко склонны понимать как равнозначущую с фразой «это для меня непонятно». Отсюда —преувеличенная в иных случаях тяга к наглядности в педагогике: возможно больше восприятий, больше образов, без образов нет познания.

Тщательные анализы подлинных переживаний мышления, как раз и вносят ограничение в подобное утрированное понимание прекрасного принципа наглядности. *Мыслимое и представляемое не одно и то же*; одно другое отнюдь не покрывает. Убедиться в этом в сущности до чрезвычайности легко каждому. Мы сплошь и рядом мыслим (понимаем) понятия, по самому характеру своему адекватно не представимые в образах. Таковы, например, понятия «государство», «партия», «выгода», «опоздание», «десятитысячеугольник» и множество других. Каждый из нас совершенно ясно понимает, что такое «десятитысячеугольник», но с уверенностью можно сказать, что ни у

кого из нас не имеется ясного образа именно *десятитысячеугольника*. В лучшем случае может предноситься образ вообще какого-то многоугольника с очень большим числом углов. Тем не менее понятие десяти тысячеугольника для нас совершенно отчетливо отличается от понятия многоугольника, имеющего десять тысяч и один угол. Совершенно очевидно, что мыслимое здесь с полной ясностью различие не дается переживаем. ми нами в этот момент наглядными образами многоугольников (число углов у которых мы, конечно, ведь не пересчитываем вплоть до 10001). Смысл других понятий никоим образом и не мог бы быть воплощен в равнозначных представлениях. Как, например, равнозначно представить себе смысл понятия «государство» или таких слов-союзов, как «итак», «тем не менее», «однако», «еще» и т. п.? *Рибо* в одной из своих работ, путем опроса многих лиц, принадлежащих к самым различным профессиям, стремился выяснить, «что именно, помимо знака, *немедленно и без всякого размышления* появляется в нашем сознании, когда мы мыслим, слышим или читаем какой-нибудь общий термин». Собранные им ответы заслуживают внимания читателя. Так, один из опрошенных, по профессии художник,—лицо конкретно-зрительного типа,—относительно пред'явленного ему

Слова:	Ответил:	
Причина Закон	Ничего Судьи в красной одежде	Т.-е. в его сознании при прочтении слова «причина» никакого образа не появилось.
Форма Собака Животное	Круглое тело, женское плечо. Уши бегущей собаки. Неопределенный образ, вроде встречающихся на некоторых голландских картинах.	
Сила	Субъект опускает руки, как бы для того, чтобы нанести удар кулаком.	
Доброта	Его мать в молодости, представляющаяся неясно.	
Время	Сатурн со своей косой.	
Бесконечность	Черная дыра.	

Другой испытываемый при понимании

Слова:	ответил, что:
Сила	видит борцов.
Форма	видит одного красивого человека.
Бесконечность	ничего себе не представляет.
Время	видит метроном.

Между тем оба эти лица, конечно, поймут друг друга, начав, скажем, рассуждать о «времени», несмотря на то, что наглядным образом один представляет себе при этом метроном, а другой—Сатурна с косою в руках.

Опыты подтвердили, что роль наглядных представлений чрезвычайно мала и в переживании нами смысла суждений и связей их. Так, если, например, испытываемому предлагалось понять предложение: «мышление так необычайно трудно, что многие предпочитают просто делать заключения», то в своих описаниях протекших в его сознании процессов он писал: «я знал тотчас же по окончании предложения, в чем его суть. Однако мысли еще были совершенно неясны. Чтобы выяснить себе положение, я стал медленно повторять все предложение, и когда повторил, мысль сделалась ясна, я могу теперь передать ее следующим образом. Делать заключение означает здесь—высказывать нечто, не задумываясь, иметь готовый вывод, в противоположность самостоятельным выводам мышления. Кроме тех слов предложения, которые я слышал и затем воспроизводил, в моем сознании не было никаких других представлений». Если верить этому описанию, процесс понимания довольно сложной мысли может протекать, следовательно, без всяких образов, за исключением только образов самих слов предложения.

Нетрудно вообразить себе, даже и не производя никаких специальных опытов, как громоздко и неуклюже совершалось бы наше мышление, если бы понимание каждого слова фразы требовало воспроизведения соответствующего образа или целой совокупности их. Мысли сменяются быстрее, чем могли бы протечь через наше ясное сознание все множества относящихся к ним представлений. За различность мыслимого и представляемого говорят далее и случаи явного расхождения между ясностью смысла и отчетливостью имеющихся образов. Совершенно ясный для нас смысл может сопровождаться совершенно неясными наглядными представлениями (вспомним пример с пониманием смысла понятия «десятитысячеугольник»). По данным *Фокса*, наглядные образы возникают у нас особенно часто, как раз тогда, когда наше мышление наталкивается на какие-нибудь затруднения и смысл оказывается не сразу для нас ясным. Возникающие образы в таком случае идут на встречу нашему пониманию. Каждому из нас известны, наконец, случаи, когда мы стараемся припомнить какое-нибудь забытое слово; смысл его бывает для нас достаточно ясен сразу—

само же оно сколько-нибудь отчетливым образом может долго не возникать.

Делая вывод из всех подобных наблюдений, нам и приходится признать, что «смысл» мыслимого не совпадает с наличными у нас конкретными образами. И законы, управляющие запечатлением и воспроизведением того и другого количественно, по крайней мере, весьма различны. *Бюлер* ставил опыты касательно запоминания парных мыслей. Для этого он прочитывал испытуемым ряд в десять пар логически связанных мыслей, вроде, например:

I. Увеличение народонаселения в новое время—борьба племен в будущем.

II. Единственный и общество—свобода есть самоограничение.

III. Знание есть сила—господство над природой и т. п.

В результате после однократного прочтения испытуемые еще на следующий день могли безошибочно договаривать по памяти вторую мысль каждой из 10-ти пар. При заучивании бессмысленных образов такая память была бы совершенно исключительной. Т.-е. осмысленность значительно ускоряет запечатление и репродукцию.

Нельзя, однако, как мы отчасти уже упоминали, стать и на крайнюю позицию и отрицать за образами *всякое* значение для мысли. В иных случаях они помогают пониманию, делают его более ясным. При этом возникающие представления подвергаются часто как бы известного рода отбору, в соответствии с тем смыслом, который имеется нами в виду (*Коффка*). По наблюдениям *Рибо*, наши образы особенно часто дают как бы индивидуальную иллюстрацию общего смысла понятия («доброта» вызывает, например, образ матери и т. д.).

Отделима ли мысль и от словесных образов? В самом процессе своего возникновения наши понятия теснейшим образом связываются с обозначающими их словами. Слова являются тою разменной монетой, посредством коей мы общаемся друг с другом своими мыслями. Чтобы лучше понять слышанное или прочтенное предложение, мы часто с особым вниманием повторяем слова его про себя или даже вслух. В тех случаях, когда наглядных предметных образов мы в своем мыслительном переживании не открываем, образы слов все же всегда имеются, хотя порою и в смутном, неясном и быстропроходящем виде. Самый метод, при помощи которого производились излагаемые

качественные анализы высших умственных процессов—метод самонаблюдения, по существу своему не может давать категорических отрицательных выводов. Всегда, строго говоря, остается возможность предполагать, что в действительности у испытуемого в сознании имелись и предметные и словесные представления, но не смогли лишь быть им зафиксированы. Принимая же во внимание, что в огромном большинстве случаев присутствие *словесных* образов испытуемыми и прямо отмечается, правильным будет признать, что существование мыслей без словесных образов не доказано.

Такое признание не означает, что мы между мыслимым и словесным образами проводим знак равенства, как то делают некоторые (например, Уотсон). Нет. К сожалению, дело обстоит сложнее и запутаннее. Отдельные словесные образы являются лишь *носителями* смысла, но не самым смыслом. Вспомним опять обычный случай припоминания забытого слова, смысл коего для нас определен; обратим внимание на то, что слово, произнесенное на неизвестном нам языке, остается для нас непонятным (не самый, следовательно, звуковой образ слова равнозначит смыслу), вспомним и «муки слова», испытываемые нами при затруднительности адекватно в словах выразить свои мысли: не даром ведь Тютчев в своем известном стихотворении и провозгласил, что «мысль изреченная есть ложь». В некоторых случаях афазии больные сохраняют способность и слышать и произносить слова, но утрачивают их значение. Следовательно, мысли, «смыслы» необходимо отличать и от создаваемых нами словесных образов самих по себе.

Но что же они тогда такое?

§ 4. Природа мыслей.

Суждения психологов на этот счет расходятся. Одни склонны думать, что мысли или смыслы являются все же представлениями. Надо лишь допустить, что эти представления подвергаются всякого рода слияниям, «сгущениям» и переживаются часто нами лишь как возможности (потенциально); ведь смысл есть лишь постоянно определенная манера ответа, реакции на раздражение—постоянно всплывающий вслед за раздражением образ. Особое значение принадлежит в этом смысле словесным и двигательным (кинестетическим) образам. Они, давая воспринимаемому впечатлению смысл, как сказано

уже, могут сами лежать в подсознательном и даже, по *Титчнеру*, могут даваться чисто-физиологически. По *Бехтереву* «то, что мы называем мышлением, в сущности есть ряд задержанных сочетательных рефлексов, преимущественно речевого порядка». Думать—значит удерживаться от речи. *Уотсон* также отождествляет мышление с речевыми реакциями.

Другая группа ученых занимает в рассматриваемом вопросе совершенно отличную позицию. На основании многих фактов, подобных приведенным выше, представители этой группы (*Кюльпе*, *Бюлер* и др.) считают необходимым решительно признать, что в переживаниях мышления мы сталкиваемся с совершенно особым, не сводимым к представлениям, психическим состоянием, характеризваемым прежде всего своею ненаглядностью, необразностью. Психологи излагаемого направления, в согласии с логико-психологическими исследованиями *Гуссерля*, полагают, что во всем содержании нашей психической жизни необходимо различать два класса явлений. С одной стороны, наглядные состояния—ощущения в широком смысле слова (включающем сюда и все виды представления), с другой—*акты*. Последние-то и суть специфические элементы мышления. Они лишены наглядности и всегда направлены—интендированы—на какой-нибудь предмет. Поэтому акты называются также интенциональными переживаниями. Во всяком познавательном состоянии можно расчленить три момента. Во-первых, то или иное ощущение или представление. Во-вторых, имеемый в виду («мнимый») *предмет*, сам по себе не являющийся обычно моим переживанием, и, в-третьих, присоединяющийся к наглядному содержанию *акт*, сквозь это содержание направленный на предмет («мнящий» этот предмет). Когда я понимаю слово «Москва», я имею в виду (мню) некоторый определенный предмет (Москву) сквозь те образы, которые возникают у меня при слышании слова «Москва». Смысл слова (предмет) остается неизменным, в то время как наглядные образы могут все время течь и изменяться. То, что определяет собою направление нашей интенции именно на этот, а не на какой-либо другой предмет, называется *материею* акта («что» мысли). То, каким образом мнится нами эта материя акта, называется *качеством* акта. Так, один и тот же предмет мы можем мыслить то как действительный, то лишь как воображаемый; отношение, существующее между подлежащим и сказуемым суждения, может мыслиться нами как утверждение или как вопрос и т. д. Все

это будут различия в качестве интенционального акта. Подобного рода структура присуща отнюдь не только высшим умственным процессам, но и каждому нашему восприятию и представлению. В каждом из них мы всегда мним некоторый логически устойчивый предмет сквозь текучую и изменчивую канву индивидуальных образов и ощущений. Предметы сами по себе не являются реальными процессами наших переживаний. Имея в виду «Москву» или «равнобедренный треугольник», я не могу характеризовать сам и эти предметы признаками временного протекания у меня в сознании. Последние приложимы лишь к переживаемым мною актам и наглядным содержаниям.

Построить удовлетворительную картину физиологических процессов, лежащих в основе подобного рода тонких различий наших мыслительных переживаний, мы, к сожалению, еще не в состоянии.

§ 5. Детское мышление.

Мышление детей, поскольку мы можем о нем судить, характеризуется рядом особенностей. Прежде всего оно носит всегда более наглядный характер. Отвлеченные, абстрактные понятия детям или просто недоступны, или же тотчас замещаются у них образами чего-либо конкретного, индивидуального. Выработка понятий и познание окружающего мира у ребенка совершается по преимуществу путем двигательного-осознательным. Познать, что такое, например, колесо,—для ребенка значит ощупать и повертеть его руками. Пережиток подобной тенденции к познанию через прикосновение и у нас, взрослых, не даром побуждает администрацию музеев вывешивать на экспонатах предупредительную записку: «просят руками не трогать». О чрезвычайно тесной связи детского мышления с движениями можно судить и по той постоянной склонности «изображать» и «представлять» все воображаемое, каковую мы наблюдаем у детей.

Детское подмечание признаков обычно весьма одномерно и узко. Сложные различия часто остаются незамеченными. В одну группу, под одно понятие подводятся маленькими предметы часто весьма различные. Лишь по мере роста способности к абстрагированию признаков предметы начинают уже характеризоваться определенной совокупностью более ясных свойств. Первоначально же за существенный (и един-

ственный) признак принимается часто что-нибудь совершенно случайное. Так, например, 10-летние дети, обследованные *Паолой Ломброзо*, понятие «телеграф» сводили к «столбам на улице» или к «тому, на что садятся птицы». Подмечание признаков вещей и выработка понятий развивается на почве наблюдательности, вызываемой у детей прежде всего опять-таки практическими интересами действия. Попытки объяснения даются памятью и главным образом фантазией ребенка. Миф есть в этом смысле истинное начало подлинного размышления. Он дает ту объяснительную гипотезу, то допущение, без которого не обходится полный процесс рассуждения. Незнающего еще действительной жизни ребенка фантазия в этом отношении может удовлетворять не меньше, чем нас удовлетворяют наши твердо установленные познания.

Дети склонны к поспешным обобщениям, будучи уверены в простой связности явлений. Появляться *после* чего-либо для них равнозначно с появлением *«вследствие»* чего-либо (логическая ошибка *post hoc ergo propter hoc*). Задавая вопросы «почему», дети (4—5 лет) чрезвычайно легко могут быть удовлетворены простым указанием на постоянство данной связи явлений или на аналогию с чем-либо уже известным. Так, на вопрос, «почему мостовая такая твердая», достаточно бывает ответить, что «мостовая всегда бывает твердой»; на вопрос, «что такое мех у кошечки», достаточно сказать: «это кошечкины волосы» (*Селли*). У детей, как и у первобытных дикарей, господствует антропоморфная точка зрения как на происхождение вещей, так и на их природу (натолкнувшись на угол стола, ребенок с гневом ударяет его своей ручонкой, как если бы стол был чувствующим существом; о лежащем спокойно мячике дитя говорит, что «мячик спит», и т. д.).

Упомянем, наконец, о некоторых *типических подходах к пониманию воспринимаемого*, которые были установлены *Бинэ* в его опытах над французскими школьниками. *Бинэ* представлял школьникам различные предметы или картины и просил их затем дать отчет о том, что они видели. Все многообразие обнаружившихся здесь особенностей восприятия *Бинэ* находит возможным свести к четырем главным типам. Во-первых, им наблюдался тип *описывающий*; лица этого типа просто, протокольно, перечисляют предметы и их свойства, не входя в анализ их соотношений, их взаимной связи и общего смысла. Описывая, например, картинку, изображавшую уми-

рающего старика, дающего предсмертные наставления своим детям, субъект пишет: «На картинке виден старик в постели, около него находятся трое молодых людей, кресло и маленький мальчик, мать, которая держит на руках ребенка, за нею девочка приблизительно девяти лет и т. д.». Второй тип называется Бинэ типом *наблюдающим*. Он уже не только перечисляет виденные на картине предметы, но и истолковывает их взаимные отношения, улавливает общий смысл изображенного: «старик, чувствуя, что умирает, позвал своих детей; трем старшим было 15, 16, 17 лет, самый младший сидит на руках у матери, а еще один держится за кресло и слушает старика-отца». Третий, *эмоциональный* тип, туссто пропитывается познаваемое своими настроениями и чувствами; он в большей мере предается своим эмоциям, чем углубляется в уяснение объективно данного. «Все печально в доме, даже собака, бывшая всегда верной своему умирающему хозяину. Шестеро детей глубоко огорчены и т. д.», пишет мальчик эмоционального типа. Последний, четвертый, тип—тип *ученый* или *книжный*, характеризуется тем, что вносит в свои описания многочисленные вспоминаемые им знания, относящиеся к виденному; лица этого типа часто не столько действительно наблюдают, сколько припоминают. Описывая, например, показанную ему папиросу, субъект книжного типа спешит рассказать обо всем, что он знает по поводу местонахождения табака, способов его обработки и т. п.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.

- Дж. Дьюи. Психология и педагогика мышления. Изд. «Мир». Новые идеи в философии. Сборн. № 16. Психология мышления. Изд. «Образование», 1914.
Уотсон. Психология с точки зрения психолога поведения. Гос. Изд. 1925. Гл. о мышлении.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

В о л я.

§ 1. Виды движений.

В предшествующих главах мы в общих чертах познакомились с тем, как совершается наше познание мира и наша субъективная оценка воздействующих на нас впечатлений. Уже